



ВАЛЕРИЙ ШАРАПОВ

**ВОР
КРУПНОГО
КАЛИБРА**

ПОСЛЕВОЕННЫЙ
КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН

Валерий Георгиевич Шарапов
Вор крупного калибра
Серия «Короли городских окраин.
Послевоенный криминальный роман»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68331985

*Вор крупного калибра:
ISBN 978-5-04-175634-5*

Аннотация

Участившиеся грабежи генеральских дач закончились убийством случайного прохожего. Начиная опер Сергей Акимов выдвигает версию за версией. Кому понадобилась жизнь безобидного человека? А что, если он стал свидетелем преступления, а такое не прощают? И, хотя пострадавшие в один голос заверяют, что ничего ценного у них не пропало, сыщики понимают: здесь орудует настоящая банда с опытным наводчиком. С подачи своего старого знакомого Кольки лейтенант Акимов решает приглядеться к новому физруку, организовавшему при школе настоящий боевой тир...

Валерий Георгиевич Шарапов

Вор крупного калибра

© Шарапов В., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Бывалый сержант Остапчук сообщил, что с фронта при-
было крупное пополнение, причем все как на подбор – ко-
мандиры разведрот, штрафбатов, волкодавы-чистильщики,
а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста, но это
не конкретно.

– Я так понимаю, Серега, спустят тебя обратно в участко-
вые, – заметил старший товарищ, балуясь кипяточком с пре-
великим аппетитом.

Акимов возмутился:

– Это с чего вдруг?

– А с того, что с всякими у тебя глушняк, – скаламбурил
Остапчук, собирая хлебные крошки и посылая их в рот. –
Кроликов бабкиных отыскал? Нет. А «эмку» этого, как его...
заслуженного пенсионера наполеоновских кампаний? Котор-
ый кровь мешками проливал. Ну, ты помнишь. А этот, тет-
кин пропавший отрез, как его, черта аль гиппопотама?

– Мадаполама, – угрюмо подсказал Сергей. Да, эта мада-
мочка со своей мануфактурой попила у него кровушки.

Сержант продолжал изгаляться и перечислять, тыча пальцами в больное, а Сергей, хотя и скрежетал зубами, внутренне был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы:

– Хорош гнать-то, – и замолк.

Потому что мыслишка упрямая грызла: а ну как и вправду? Тогда крышка. Полная профнепригодность. А еще и позор. Потому что прилюдная выволочка получается: его, боевого офицера с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, все-таки обезвредил банду домушников, спустить на землю, как в сортир? Тогда уж лучше сразу копать канал какой.

«Да вот пусть попытается, черт кривой. У меня благодарность от самого генерала. Пусть только попробует, иначе...» – храбрился Сергей.

«Иначе что?» – насмешливо вопрошала совесть.

Сам перед собой он должен был признаться: да, с раскрываемостью у него – швах. Фортуна следовательская – дама переменчивая, любит долгие ухаживания, терпение и труд.

У него, Сергея, с ухаживаниями не ладится. Не получалось как следует общаться с людьми, да и работа со свидетелем упрямо не давалась. Потому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а то и прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь затем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его, куда следует, – и выудить нуж-

ное.

И размышлять, честно говоря, он еще не умел. И сообщать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков, не владел наукой выявлять причины и следствия (а то и путал их местами), хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, по-детски не допуская вариантов.

Всему этому надо было учиться, но для начала – признать себя неучем, и было это безумно трудно.

И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов, намертво придавив сомнения в собственной профпригодности, заносчиво выслушал констатацию того, что и сам знал, – низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздернув подбородок, заявил, чуть не звеня от злости:

– Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению я – следователь.

Новый начальник, капитан Сорокин Николай Николаевич, был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придиричивый, вьедливый. Глаз, говорят, ему еще до войны выбили, поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам (по чьим, правда, не уточнялось). И вот этим-то единственным глазом – острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма – он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного:

– Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то – салага. Не скажу «шестерка».

– Да я... – вскинулся Сергей.

– Ты про банду домушников? Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло. Можешь забыть, а накрепко другое запомни: твои достижения, и в особенности курсы твои, – это тьфу и растереть. Уровень твой покамест – участковый на земле. На самой что ни на есть окраине, понял?

Акимов, играя желваками, молчал, но уши уже начинали гореть.

– И не вздумай бахвалиться, строить из себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сажал, да по рукам дают. Знаю я вас: вчера вылупились, торбохвата грязного заловили случайно, по его же пьяни, прокурор по шапке надавал – отпустили. И на те, ходят по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях: мы, мол, ловим, а оне отпускают.

– Да я... – снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его:

– И про «я» забудь. Букву эту забудь. Есть «мы», органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы «оне» не были вынуждены отпускать. «Оне» – это которые пусть и с опытом, и высшим образованием, а, представь, тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские – наши, советские люди, – спят и видят, как бы всех кровососов – да

вновь на волю?

Акимов покачал головой: эва куда руководство занесло, в какие высоты.

– Значит, так. Ты не просто преступника берешь, вываливаешь, как самосвал, – во, я привез, дальше сами-сами. Твое дело – спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего, Основного Закона, – будь то прокурор, эксперт, суд, – были все основания полагать: вот он, преступник, а ни в коем случае не неповинный, честный советский гражданин. Ясно?

– Да не совсем. С одной стороны, вы...

– Я? – прищурился Сорокин.

Вот клещ одноглазый!

– Руководство, – поправился Акимов, – настаиваете: давай скорее, выявить и задержать. А теперь, оказывается, не только держи-хватай, надо еще работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорские, эксперты, суд – это все потом, а я – первое звено, основа, и от меня все зависит, и если я где напортачу, то все правосознание рухнет. А как мне вот это все обеспечить, без образования и всего такого? Как это вы себе представляете? Технически.

Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь:

– Все, достаточно. Хитренький ты жук, Акимов. Излагаешь гладко: то есть вы меня не так выучили, а спрашиваете,

так?

Акимов начал понимать, что зря он все это начал.

– Теперь возвращаемся к тому, с чего начали: твои курсы следователей. Выучили тебя, друг мой, а дальше – именно сам-сам. Развивайся, анализируй, образовывайся. Чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное: с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они. Им стань. Или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть, так, чтобы люди сами к тебе шли, сами просили выслушать. Понял?

– Тогда, так получается, проще при задержании того... предупредительный в голову, а второй уже – в воздух, – проворчал Акимов.

– Давай, милый, давай, – поддакнул Сорокин, – если совесть, правосознания, – да и – что экивоки разводить – ума не хватает, так и пали. Людей-то у нас еще много осталось, всего-то двадцать миллионов полегло. И тот, по которому палишь не разобравшись, без достаточных на то оснований, он-то, конечно, ничей не муж, не сын, не брат, не руки рабочие. Чего его жалеть.

Ненавидел Акимов такие вот разговоры. И повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях, на косвенном – берет начальство и так вдруг все повернет, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают.

– И что ж, выходит, саботажник я, а не опер? – тяжело, точно булыжники языком ворочая, проговорил он. – Удостоверение на стол, кайло в руки?

– Вот видишь, доходит до тебя, – одобрил капитан, – начал понимать, чего на самом деле стоишь. А все потому, что опыт. Ты боевой офицер, летчик, человек с высокой степенью ответственности. Самолет тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю. Мотай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковер закатываю, издеваюсь, ты же сам командовал, понимаешь...

– Я и не думаю.

– Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось – да не успели, ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит не как соиздание, а как разрушение: сплошная погоня, засада, пальба-поножовщина. Будет что девчонкам рассказать...

Сорокин оборвал свою речь и прищурился:

– Сам о таком мечтал?

– Нет, конечно, что я, не понимаю? – огрызнулся Сергей.

– Вот я и говорю, – мирно продолжал Николай Николаевич, – то, что для кумушек на лавочках да для девочек на танцах – героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов, – топорная работа, нечеткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чем я?

Акимов заверил, что понимает. Хотя не очень.

– Поспешил. Спугнул. Недоучел. Доказательств мало. Ты

пойми: преступник – он не дурак. Если ты все сделал как надо, и он сам понимает – нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если невменяемый – тут я не спорю. Но это исключение, не правило, а на деле нормальный человек – даже головорез – понимает: если все доказано, то идти некуда. Все равно возьмут, только уже с прицепом: сопротивлялся при задержании. И нарисует прокурор – я тебя уверяю, с превеликим удовольствием, – уже не восемь годков, а все десять.

Акимову показалось, что он все-таки уловил какую-то неувязочку, и не преминул по горячности вставить:

– Прям так-таки некуда идти, Николай Николаевич, скажете тоже. Годами бегают...

Сорокин аж руки потер от удовольствия:

– Прости. Про таких, как я, говорят: связался черт с младенцем. Ждал я твоей ремарочки. Но ты же сам понимаешь, как еще учить-то вас, умников? А на твою реплику отвечу так: если прямо сейчас кто и бегают, то ненадолго это. Эх ты, следователь! Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого, а то бы...

Акимов насторожился: как же, говорили, по тылам одноглазый кантовался?

– А то бы что? – осторожно спросил он.

– Да ничего. Это со стороны казалось: крах, паника, толпы беженцев. Что ты! Осведомители работали как часы, о каждом информация поступала минимум из двух источников –

от соседа и от жены... ну, не важно. Идею понял?

– Не совсем.

– Поясняю еще раз для особо одаренных, – терпеливо сказал Сорокин. – Если в агонизирующем рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спянной военными годами, Великой Победой, совместным трудом?

Начальник поднялся, прошелся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник.

– Бегают, говоришь? Ну, пусть бегают, пока есть чем... Бегают, само собой, людей убивают, документы подделывают, да и есть где приткнуться: Западная Украина, Молдавия, Прибалтика, да и Сибирь. Но я тебе так скажу: недолго им бегать, если каждый из нас на своем месте, в своих пределах будет бдительным. Само собой, по тайге, по тундре, да и просто в лесу, еще не разминированном, есть где сховаться, только ведь пытку одиночеством мало кто снесет. Оно, одиночество-то, страшнее голода и тюрьмы, даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься, и с каждым годом все труднее и труднее будет.

– Это почему ж так?

– А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят – похлеще смершевцев. Потому что проходные с вахтерами, общежития с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожиками – это не счи-

тая бдительных пионеров! Вот с этими, мой тебе дружеский совет, в контакте всегда находишься. Бесценные ребята. До всего им дело есть, до всего докопаются, все примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. Ясно?

– Так точно.

– Вот так и служи, – подвел черту Николай Николаевич. – Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка, бандиты да ворье распоясались, неучтенного оружия фронтовики понавезли, да и после победной амнистии... да. Поднагадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с Летчика-Испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. Покультурнее, в общем. Проявишь себя как следует – вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усек?

– Усек, – угрюмо ответил Акимов.

– Свободен.

* * *

Правильно говорят: беда не приходит одна. Сначала Батошку – Анчуткину подобранную собаку, которая работала грелкой, спала между друзьями-огольцами, – заловили в собачий ящик, потом, прямо перед самыми холодами, свалилась новая напасть.

Власти принялись за разбор завалов. Это как раз когда

зима на носу и по ночам уже мерзнешь до костей. Что им приспичило прибираться именно сейчас? Что тут строить, на окраине? Это там, в центрах, возводили огромные дворцы с потолками по три метра, где-то вырастают целыми кварталами трех-, четырех-, пятиэтажки с уже подведенной водой, сортирами в квартирах, с батареями... врут, наверное. Кому это все строить? Где рабочие руки брать? На какие шиши?

Как-то раз, когда уже хорошо подморозило и без Батошкиной шубы у друзей зуб на зуб не попадал, послышался рев мотора и кашель выхлопа, и, выглянув в оконный проем, увидели Анчутка и Пельмень целую армию, как в газете на фото про Сталинград.

– Глянь, фрицы, – просипел Яшка.

Он никак не мог согреться, и старая хворь одолевала его с новой силой: чуть пошевелишься – и кашель, чуть успокоишься, прикорнешь – и свист в груди.

– Что, опять? – возмутился Анчутка, откашливаясь.

– Расстрелять паникера, – скомандовал Пельмень. – Не сопй. Вон наши, со стволами.

Тревога, естественно, оказалась ложной. Просто на окраину доставили пленных на разбор завалов. Было их человек... немало, вполне нормально одеты были фрицы, даже в большинстве своем выбритые и постриженные, как есть не вшивые, а стало быть, и не тифозные. Бодрые, а главное, в целом упитанные.

– Беда, слушай, чего-то вертухаев маловато, – заметил Ан-

дрыуха.

– А чего ж много-то, куда им деваться? Куда им бежать-то? – рассудительно заметил Яшка.

– Ну, это... нах вест?

– Скажешь тоже. Ну и добежит до первого угла, а там его моментом разъяснят.

Пельмень, подумав, согласился: так-то охрана защитит, не даст на расправу, а бежать фрицам до хаузе далеко и незачем. Зима скоро, да и куда деваться без языка и документов.

– Лодыри. Трудно, что ли, язык русский выучить? – недоумевал Яшка.

– А еще говорят, трудолюбивые, мол, фрицы, – заметил Пельмень. – Еле ползают, а ряхи вон поперек шире. Ночи три-четыре еще спокойно можно перекантоваться, а там поглядим, может, и похиряем в соседний квартал. Пока еще до нас доберутся.

Полдня отработали пленные, разбирая завалы, и Анчутка с Пельменем, которые уже перестали их опасаться, оценили качество их труда и масштаб работы и решили, что никакого смысла нет смываться прямо сейчас.

– Еле клешнями шевелят, – констатировал Анчутка, – только глаза мозолят. Принесла их нелегкая. И так мерзнем до полного окоченения, а теперь уже куда деваться.

Снова послышался шум мотора, отстреливалась очередями прогоревшая выхлопная труба, прокрякал клаксон. К развалинам причалила – совершенно определенно – кухня!

Пленные моментально закончили и без того неторопливую, без энтузиазма, работу, зато быстро и четко, как на плацу, выстроились в шеренгу на раздачу.

– Только глянь...

– Вот твою ж бога душу...

Пацаны матерились, подбирали слова, делились впечатлениями: а как иначе? Что ж за дела-то на белом свете? По-красневшие, сопливые носы услужливо сообщали ссохшимся кишкам: похлебка мясная, каша и... масло! И кому?!

– Жируют фрицы, – завистливо цыкая зубом, процедил Яшка. – Народ-победитель с голоду подыхает, а они...

– Ну мы ж не они, – заметил Пельмень, сглатывая слюну, – пленных голодом не морим.

Дурманящие ароматы туманили мозги, так и хотелось проскользнуть ужом между битым кирпичом, нырнуть с головой в этот дымящийся чан – и жрать, жрать, глотать, обжигаться. И пусть хоть убивают потом.

По счастью, остатки разума и жизненный опыт подсказали, что не то что нырнуть – добраться до чана не получится. Во-первых, далеко, во-вторых, Яшка, вот уже месяц перхающий, как старая овца, на полпути упадет, а то и вовсе откинется. Ну и охрана, хотя и мало их, что ни говори, а все ж бдит...

Бдил и тот, что на раздаче. Фриц. Точнее, половником орудовал наш, но рядом стоял пленный и каждую миску-кружку отмечал по бумажке. И не только посуду с хавчи-

ком отмечал, но и кто по сколько раз подошел.

Кто-то из гансов пытался протиснуться за добавкой, но этот, с бумажками, мигом осаживал. Десяти минут не прошло, как на этого держиморду ругались уже все – и раздатчик, недовольный тем, что его заставляют половник заполнять не как получается, а точно как положено, и пленные, которые хотели жрать, а не стоять в очереди. Да и охрана косилась неодобрительно.

Этому, что с бумажкой, все было нипочем.

Возможно, потому, что остальные были в пижонистых кепчонках с пуговками и хлипкими ушами, а этот – в удивительной шапке, похожей на островерхий конус, из серебристо-серой овчины, да еще и в советской шинели, которая оборачивалась вокруг него чуть ли не вдвое. Перетянута она была ремнем с пряжкой, с которой был спилен орел.

Вот он стянул варежки – именно варежки, причем тоже наши, трехпалые, – и в глаза бросились удивительные руки с бесконечными пальцами. Которые немедленно побелели, потом посинели – видать, приходилось уже отмораживать.

Высокомерно игнорируя выступления, фриц успевал проконтролировать все – и количество жратвы в каждом половнике и в каждой миске, и соблюдение очереди, и физическое состояние товарищей, и кто сколько на выходе получил щец и хлебушка.

– Ты ручки им еще проверь, – проворчал Андрюха, – помыли – не помыли. Да, с таким клещом на сторону фиг что

перепадет.

– Унтер какой-нибудь, из бывших, – предположил Яшка, – ишь как хлебалом дергает. А уж фуражка-то! Истинный ариец.

Они прыснули, но тотчас захлопнули рты – напрасная предосторожность. Ветер, гуляющий по развалинам, свистал разбойником, заглушая все звуки.

Раздача между тем медленно, но подходила к концу, последним свою пайку получал именно «унтер». Мстительный раздавала не преминул этим воспользоваться – плеснул прямо на самое донышко, да не в миску, как прочим, а в какую-то консервную банку, снегом наспех протертую.

Только было слышно, как он хабалисто вякал: «Где я тебе миску возьму? Ишь, фон-барон. Бери что есть». Обделенный фриц лишь дернулся, но не произнес ни слова.

«Размазня, – подумал Пельмень. – Уж я бы не промолчал, это факт... А молодец мужик: голодный, а сначала проследил за тем, чтобы не обделили товарищей, а потом еще жрет последки и добавки не требует».

Поскольку от него до «бруствера», за которым таились Анчутка с Пельменем, было не более полусотни метров, легко было видеть, как фриц застилает бетонную плиту газеткой, расставляет свою пайку, достает из недр шинели склянку...

– Бухло? – удивился Анчутка. Пельмень лишь плечами пожал, сбитый с толку не менее товарища.

«Унтер», взболтав склянку, плеснул из нее на замерзшие, по-покойнически синие пальцы, – в морозном воздухе аж зазвенело от сильного запаха.

– Шнапс, что ли? – прошептал Яшка.

– Сам ты шнапс, одеколон, – со знанием дела поправил Пельмень. – Ишь ты, ручки начищает. Что боишься-то, такой заразой и микроб побрезгует...

Не выдержав, хихикнул, и Анчутка прыснул – и очень зря это сделал: хапнув ледяного воздуха, немедленно зашелся в кашле.

Напрасно шикал друг: «Цыц ты, холера!» и прочее, напрасно Яшка зажимал рот и ужасно пучил глаза. Приступ не утихал.

Хорошо, что фрицу не до того было: закончив «сервировку» и сняв папаху свою распрекрасную – ну и уши же у него оказались! Локаторы! – он сложил руки, отвернулся к стене и на какое-то время замер.

– Чего это он? – шепнул Яшка, а Андрюха проворчал:

– Набожный. Небось, когда в наших девок-детешек пулял, тоже боженьку на помощь звал, черт... Черт! Да тихо ты!

Яшка, обессилев от приступа, привалился к стене. Кладка, обветшавшая от времени, взрывов, дождей и морозов, немедленно капитулировала, из-под Анчуткиных субтильных лопаток, словно пот, струйкой заструились пыль, камешки и прочая дрянь сыпучая. Тут еще, как назло, ветер

попритих.

Фриц безошибочно – ишь, в самом деле ушастый – глянул в сторону шума, отложил ложку, которую только-только натер какой-то тряпочкой, и направился к ним.

– Тикаем! – вякнул было Пельмень, но Анчутка лишь руками развел, дыша со свистом. Андрюха пошарил по полу, нащупал увесистый камень, приготовился... хорошо, что это был не каратель с автоматом в руках, а пленный, в смешной папаше и советской шинели. И потому-то не влетел камень в высокий лоб, не брызнули на кирпичи тевтонские мозги, – и фриц просто подошел и заглянул за «бруствер».

Некоторое время они разглядывали друг друга: три оборванца, обмотанные чужим тряпьем.

Глаза у фрица оказались зелеными, как неспелый крыжовник, аж скулы свело, а лицо изуродованное: прямо по левому глазу, через лоб ко рту, проходил глубокий шрам. Разорванная и небрежно заштопанная губа вздернута, и лицо в итоге выглядит как маска на городском театре: одна сторона скалится в улыбке, другая пусть и не плачет, но мрачноватая.

И взгляд у немца был такой люто-голодный, пронизывающий, что Пельмень, позабыв о камне, пролепетал:

– Дяденька, нихт шиссен.

«Унтер» хмыкнул, выдал что-то на своем собачьем наречии, ворча, вернулся к своему «столику» и, когда подошел снова, протянул пацанам свою консервную банку.

– Отравить хочет, – быстро сказал Яшка.

– А покласть, – немедленно отозвался Андрюха.

И торопливо, но по-братски, по глотку на каждого, они сожрали фрицеву пайку – из подзадохшейся капусты, это да, но на мясном концентрате, сытном, ядреном. Было похлебки ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего.

– Фсе? – спросил «унтер» и щелкнул своими удивительными щупальцами. – Тай.

Пельмень протянул ему посуду.

– Данке шон, – поблагодарил образованный Яшка и закашлялся.

И снова «унтер» зыркнул крыжовенными буркалами, вздохнул и, вытащив из кармана, вручил Пельменю кусочек хлеба, прозрачный, как осенний лист.

Впоследствии, уже взрослым, Андрюха сам себе признавался, что в этот момент был готов запихать в себя и эту скудную пайку, проглотить до последней молекулы – и плевать и на то, что протягивает хлеб смертельный враг, и на больного Яшку.

Однако так пристально, оценивающе смотрел фриц, что не посмел Пельмень опозориться, понял своим замерзшим и скукоженным умишком, что нельзя так. Бережно, по крошечке, он честно и поровну разделил пожертвование и немедленно заметил, что оскал фрица стал улыбкой. Синий от холода и голода, он как будто весь засветился ею, до самых оттопыренных, как в прошлой жизни мама замечала, «музыкальных», ушей. Хлеб был непривычный: не черный,

не светлый, а какой-то серый, не магазинный, видать, из какой-то особой пекарни.

Раздался крик охраны: «Кончай перерыв! За работу». Фриц, собирая со своего «стола», выдал еще одну длинную тираду, в которой прозвучало «шпиталь», «швинзухт» («Больной свиньей ругается?» – подумал Анчутка), но, понимая, что говорит впустую, поспешил за зов.

– Тикаем, Андрюха, – поторопил Яшка. – Ща вертухаев приведет.

– Да хорош, – лениво возразил друг. – Ему-то на что? Ох и хорошо-то как!

Они прислушивались к своим внутренним ощущениям, к таким довольным желудкам. Радость оказалась недолгой, воспоминания о похлебке испарились очень скоро, и есть захотелось с новой силой.

К вечеру на промысел Пельменю пришлось идти одному, Анчутка совсем расклеился. Потом он всю ночь дрожал, не мог никак улечься, что-то приговаривал во сне и кашлял, кашлял, кашлял. Андрюха начал серьезно подозревать, что надо бы другу в больницу – а там как кривая вывезет, пусть в детдом, и там люди живут, говорят. Однако стоило наутро завести разговор, как Анчутка взбесился и зашипел:

– Только заикнись об этом, задушу ночью! Ишь чего удумал. Лучше тут подохнуть!

– Да тихо ты, – увещевал друг. – Не хочешь – не надо, только не ори. А то, слышь, снова едут!

И снова прибыл транспорт и вывалил немцев, которые неторопливо разбирали завалы, сновали с тачками, орудовали лопатами. И вновь появился «унтер» в папахе. Сразу по приезде он оторвался от своих и от охраны – было очевидно, что конвоиры не особо беспокоятся о том, что он надумает бежать, – направился к «брустверу». Убедившись, что его знакомцы на месте, вернулся к работе.

В этот раз во время обеда при раздаче «унтер» вел себя склочнее. Раздатчик поливал его отборными матюками, а тот огрызался плотными, хлесткими очередями, вставляя русские термины, – и, странное дело, в дуэли победил фриц. Выбив в качестве репараций не один, а три половника, – и не только котелок, но и три пайки в него выбил, – он, не обращая внимания на крики в спину, отправился к «брустверу».

– На, – кратко скомандовал он, подавая котелок, практически полный, – фрест, шнелле.

Пацаны поняли без переводчика. Они, чуть не с ногами влезши в посуду, уничтожили пожертвованный харч. Благодаритель при этом выдавал какие-то ценные указания, то тыча в Яшкину грудь, то изображая повешение (или самоудушение?), употребляя русские народные слова, обозначающие «кирдык». Потом извлек из кармана какую-то жестянку и пантомимой принялся изображать: мол, это надо пить с горячим.

– Где я тебе горячее-то найду? – возмутился Пельмень, внимательно следящий за разъяснениями.

«Унтер» огрызнулся новой порцией разъяснений и мата, в которой проскальзывали уже знакомые «шпиталь», «швинзухт» и понятный без переводчика «капут».

– Сдается мне, он за больничку болтает, – заметил Яшка угрюмо. – Или госпиталь, или капут.

– Йа, йа, – кивнул фриц, в том смысле, что судьбу свою Анчутка понимает вполне правильно. И все совал в руки свою жестянку. Пришлось взять.

Покликали всех снова на «арбайтен», фриц поднялся, указал на пол, потолок и стены, затем ткнул себе в запястье, в отсутствующие часы, и, наконец, помахал руками, как бы сгоняя мух. Сдернул чудо-папаху, нахлобучил на голову Анчутке – и скрылся с глаз.

– Эва как, – вдумчиво произнес Пельмень. И замолчал.

Яшка прогудел из-под овечьего конуса:

– Грит, завтра тут разбирать начнут. Валить надо.

– Надо – свалим, – флегматично заметил Пельмень, рассматривая подарок. Под крышкой оказался перетопленный желтоватый жир.

– Вот это дело, – оживился Яшка, – это ж надолго хватит, если по чуть-чуть. Жир, он сытный.

Андрюха возразил:

– Э, нет. Лекарство это понемногу надо. Я так понимаю, что это жир собачий. Его от кашля и зэки принимают, все знают. Фриц все повторял – «хунд», «хунд» – это собака. Точняк говорю. Его и с горячим пить надо, как он показывал.

– Не стану, – упрямо заявил, надувшись, Яшка. – Может, это вообще Батошкин.

– Станешь, – таким же манером уверил Андрияха. – Ручки-ножки повяжу да в глотку засуну. Больно надо мне тебя хоронить, мороки много. А что до хазы, есть у меня одна идеяка.

* * *

Андрияхиной идеякой оказался поселок под названием Летчик-Испытатель, располагавшийся в небольшом лесном массиве, сразу за железнодорожными путями.

Далее до соседней области тянулся серьезный лес, и ходить туда было небезопасно. Там и в мирное-то время пошаливали, а после войны до него саперы еще не добрались.

В этот светлый лесок и до войны наведывались за грибами, ягодами, орехами, хаживали туда и в военные годы. И пусть за это время в поисках съестного все сильно повилохталось и повиломали, но лес остался, пусть и подлесок сильно поредел. После Победы герои-летчики – так рассказывали – получили от товарища Сталина это место под дачи. Было ли это именно так или как-то иначе – никто не ведает, в любом случае массив нарезали на участки и выделяли их отставному офицерству не ниже полковников. Встречались и генералы. Поселок был невелик, всего пять улиц – Летная, Пилотная, Нестерова, Чкаловская и Гастелловская, – но летом за-

селен бывал довольно густо. Все теплое время там кипела жизнь, а чуть холодало – окна-двери заколачивали и съезжали на винтер-квартиры.

Пельмень, понаведавшись сюда несколько раз, выяснил, что зимовщики остались только на Летной и Пилотной, а на Нестерова, Чкаловской и Гастелловской было безлюдно. Вот одну из дач – одноэтажный скромный домик с мансардой и верандой, зашитой досками, – Андрюха и облюбовал под зимовку. Тем более что ворота и парадная калитка заперты на огромный амбарный замок, а задняя дверца, то есть та, что на задах двора, выходящая в лес, закрыта была всего-то на крючок.

– Курам на смех. Крючок долой, втихую снимем пару досок, – объяснял Пельмень, – пролезем – и порядок. Оно, конечно, насчет печки не уверен, можно ли топить. Хотя, если не раскочегаривать, может, и не заметят. Мороза еще нет, дым валить не будет.

– Вот беда-то, – боязливо отозвался Яшка. После месяца в холодных развалинах уж так хотелось погреться у настоящей печи, но было все-таки страшновато: а ну как завалит сердитый хозяин с пистолетом? Однако ради того, чтобы поспать в тепле, можно было и побояться.

Анчутка решил:

– А знаешь что? Да хрен с ними со всеми, сразу-то не выгонят, не увидят. Где, ты говоришь, зимуют?

– На Пилотной и на Летной точно, почту им туда носят.

– Ну так это где. Кто может увидеть-то? – неубедительно, но уверенно рассудил Анчутка. – Через парадное мы ходить не станем. А если кто с главной улицы будет заходить – так сразу увидим. Тикаем через лес – и всего делов.

На том и порешили. Дождавшись ранних сумерек, пробрались к задней калитке, без труда откинули ножиком крючок, отжали пару досок, которыми была забита веранда, и проникли в дом. Внутри было темно и уютно, пахло сухим деревом и хорошим табаком. То ли сама постройка была возведена на совесть, то ли не так давно хозяева съехали, но было довольно тепло. Сама обстановка простецкая: на первом этаже – одна большая просторная комната, и лестница шла наверх. Правда, что там наверху – неясно, ход забит листом фанеры, чтобы тепло не уходило, но вряд ли там было богаче, чем на первом этаже. Главное, что имела место – Анчутка вздохнул так, как будто чаша его счастья переполнилась, – великолепная печь-голландка, выбеленная, отделанная кафелем, с чугунной конфоркой да начищенными отдушинами, которые до сих пор поблескивали.

– Это хорошо, что не русская и не буржуйка, – со знанием дела пояснил Пельмень, рыща в поисках дров, – меньше будет дыму...

Предусмотрительные хозяева даже топливо уложили в сенах, и сами дровишки были отменные, никакой осины – береза и елка.

«Живут же люди, – дивился Яшка, оглядываясь. – Красно-

та-то какая!»

Никаких особых сокровищ тут не было, но само помещение – с полукруглым эркером, отделанное деревом, – было таким просторным и уютным. Видимо, его использовали как кухню и как гостиную. Красовался породистый, под потолок, буфет. Тяжелый диван, кожаный, с салфеткой на высокой спинке. По одной стене шли забитые книгами полки, по другой были развешаны ковры, картины, над дверью висел пропеллер.

– Вот под этим и устроюсь, – сообщил Пельмень, указывая на массивный круглый стол, – а ты на диван завалишься. Сейчас растопим, согреем водички и будем тебя выпаивать.

Голландка, заботливо вычищенная перед отъездом, легко разгорелась, потянуло теплом, не хотелось ни говорить, ни думать, только молчать и слушать, как потрескивают огонь и деревяшки. Закипал чайник, шипя и плюясь. Яшка, которого терзала какая-то мысль, спросил:

– Слышь, Пельмень, вот этот фон-барон чего это такой добренький?

Пригревшийся Андрюха приоткрыл глаз:

– А я почему знаю? Когда прижучит – кто-то звереет, а этот вот подобрел. Видал, как ручки-то складывал? О Боге вспомнил.

– Тут вспомнишь, – согласился Яшка. – Не, хороший мужик, хавчиком поделился, можно сказать, выбил.

– В смысле?

– Ну, поругался с этим, с поварешкой, чтобы не одну пайку, а три налил.

– Ага, крысюк какой. У своих же жратву подтибрил.

– Так он же для нас, – заметил Анчутка, но Пельмень, хотя и поколебался, своих слов назад не взял:

– А... ну да. И все равно фашист. Сегодня нам помог, а вчера душегубствовал по хуторам.

Но Яшка почему-то воспротивился:

– Нет, если бы так, его бы сразу грохнули. И потом, вот ему папаху кто-то отдал, – он любовно погладил обновку, – шинель, варежки. Поделились – стало быть, человек хороший.

Пельмень подвел черту обсуждению:

– Да бес с ним! Накормил и за шапку – спасибо, лекарству дал – туда же, а как он с другими – сам пусть отвечает.

– Перед кем? – осведомился Анчутка.

– А перед кем надо, перед тем и ответит. Трибуналу. Или кому он там молился... да хорош уже, вон, крышечка уже прыгает.

В буфете обнаружилась сахарница с несколькими кусками рафинада, подернутый белесым мед, банка забродившего варенья. И – о чудо! – жестянка с нерусской надписью, в которой оказалось пальца на три сухого молока.

Яшка немедленно сунул в нее нос, втянул одуряющий запах:

– Вот это фартануло.

Пельмень отобрал у друга банку:

– Хорош марафетиться, все вынюхаешь. Сейчас наведем.

Ох, как славно было, сменив окружение из холодных камней на теплые, дружелюбные деревянные стены, сидеть на толстом ковре около разогревавшейся печи и потягивать из настоящих (фарфоровых! небитых!) кружек кипятков с сахаром и молочную болтушку с жиром. Против ожидания, собачьим духом не пахло, зато в груди после первых же глотков заметно потеплело, дышать стало легче.

Пельмень решил так:

– Полночи один на стреме, полночи второй. Или час через три, как тебе? За печью надо следить, да и мало ли кто заявится.

– Надо, надо, – сонно поддакнул Яшка. – Ну, ты разбуди, как сам кемарить соберешься, я тебя сменю.

Видя, что друг уже отключается, Пельмень пожалел его и согласился на график дежурства. В конце концов, больной тут один.

* * *

Ближе к трем часам начался густой снегопад. Яшка, сменивший приятеля, сидел, прижимаясь к печке и отлипая от нее лишь для того, чтобы подкинуть в топку поленце. Свет, само собой, не зажигали, только огарочек свечи прикрепили к блюдцу и заботливо налили туда талой воды, чтобы не спа-

лить гостеприимный дом.

И около трех тридцати – он это хорошо запомнил, потому что любовался собственноручно заведенными ходиками, а концы у стрелок светились в темноте, – раздался выстрел.

В это же время промчался товарняк, и сомлевший от тепла Анчутка сперва не осознал, что сначала бахнуло и лишь потом – загрохотало. Причем стреляли неподалеку, чуть ли не под боком.

Он осторожно выглянул в оконце – и, вполне ожидаемо, никого и ничего не увидел. Разве что убедился, что снегу нападало порядочно. И все-таки что-то там стряслось, в доме напротив, поскольку сквозь доски забора блеснула полоска света, будто от фонаря. Метнулась по свежему снегу и тотчас пропала.

Калитка дачи напротив стала открываться – медленно-премедленно, как в страшном сне, – и на дорогу вышел человек. Осмотрелся, а потом отправился как ни в чем не бывало вниз по улице, спокойно, уверенно, без тени спешки.

«Ну, может, хозяин? Ключи забыл или там за банкой огурцов заехал», – успокаивал Анчутка сам себя, но никак не мог избавиться от острого чувства сожаления.

Нет, не хозяин.

Нет, не за ключами-огурцами.

И да, скорее всего, придется сматываться из гостеприимного дома, от печки и из тепла.

Яшка чуть не взвыл, но вовремя опомнился. В конце кон-

цов, надо просто все выяснить – глядишь, и ложная тревога.

Он толкнул приятеля в бок:

– Андрюха, буза, тут чего-то стряслось, как бы нам не погореть.

Пельмень тотчас проснулся, распахнул глаза:

– Ась? Что?

Выслушав рассказ Анчутки, он тоже чуть не взвыл от сожаления и тоже взял себя в руки:

– Пошли глянем, как да что.

Затушив свечу и как следует закрыв дверцу топки, пацаны выбрались из дома, прошли через заднюю калитку, обогнули участок и, крадучись, пересекли улицу. Фонари в поселке горели через раз, и все-таки от первого снега было достаточно светло. Удалось разглядеть дорожку следов, идущую от калитки соседнего дома, – она шла прямо, вниз по улице. По четким, равномерно отпечатанным метинам видно было, что человек не бежал, а именно уходил.

– Пошли, что ли? – неуверенно спросил Яшка.

Пельмень не ответил. Обернув ручку калитки рукавом тельника, он отворил дверь с маленькой медной табличкой «А. И. Романчук» и осторожно заглянул внутрь.

Удивительно. Тут весь двор был завален снегом чуть не по щиколотку, и снегопад валил гуще, прямо смерчами кружился в воздухе.

– Метель. Аль выюга какая, – хмыкнул Анчутка, белый-пребелый.

Снег был необычным. На дорожке смятыми сугробами возвышались пуховые подушки, безжалостно растерзанные и выпотрошенные, какие-то осколки также усыпали двор, от веранды до калитки тянулся след от матраса, и сам он обнаружился прямо у калитки.

Качественный, толстый пружинный матрац. Его полосатая обивка была изрезана, мягкое наполнение было раскидано вокруг, топорщились голые пружины.

На самом матрасе, головой на нем, а телом на снегу, лежал ничком человек в ушанке, напрочь убитых сапогах, в тельнике, поверх которого чего только не было развешано: бумажки, висюльки на шнурках, проводки. Лежал он неловко, неудобно как-то вывернувшись, так что сразу стало ясно – мертвый.

Пельмень осторожно перевернул его (он был еще мягкий, не заоченевший), Анчутка чиркнул спичкой. Вряд ли парнишка был старше них. Толстогубый, с большим лбом, с огромными, недоуменно выпученными глазами, смутно знакомым лицом. Внешних повреждений вроде бы не было, но когда Яшка чиркнул спичкой, стала заметна дыра в телогрейке с левой стороны.

– В упор стрелял, падла, – прошептал Пельмень.

– Давай, что ли, закроем, – жалостливо предложил Яшка, и Андрюха потянулся было ладонью к мертвому лицу, но вовремя опомнился и руку отдернул:

– Дурак ты, право слово. Тикаем, а то на нас повесят.

Горестно вздыхая, они вернулись в «свой» дом, прибрались, тщательно затушили печь, приладили на место доски и отправились куда глаза глядят, главное, чтобы подальше. Каждый тайком думал, что рано или поздно придет и его время, и будет он лежать таким же макарон, на снегу или в придорожной грязи, и таращиться в небо – или на окружающих, если таковые найдутся, – стеклянными недоумевающими глазами, хорошо еще, если двумя. И точно так же, должно быть, не будут таять, падая на лицо, легкие снежинки.

* * *

Колька, прицеливаясь, поднял пистолет – и немедленно почувствовал, как затряслась рука. Привычно накатила паника, похолодело в животе: «Что это такое? Почему?» Вот уже сколько лет он, повидавший и натворивший многое, не боялся ничего. Уж сколько времени потрачено на всю эту чепуху французскую, отжимания на кулаках, на пальцах, на одной руке, стойки-«крокодилы», все эти подъемы-перевороты, укрепляющие мышцы.

Безнадега все это.

Стоит поднять чертов пистолет – и появляется липкий страх: вот промахнусь! Вот промажу, снова опозорюсь... И трясется накачанная рука, и мечется по мишени мушка, бешеной козой скачет в прорези.

Колька, стиснув зубы, попытался успокоиться, нажать на

курок как учили, – но вот уже скачет не коза, а целый слон. Чем ближе к тому, чтобы спустить крючок, тем сильнее трясутся руки, тем выше и резче дергается мушка.

Ощущая, как из глаз начинают струиться злые слезы, он со злобой нажал на курок – плевать, как придется!

Грянул выстрел.

Пацан зажмурился, стиснул зубы, стараясь удержаться, не закричать, не грохнуть эту железяку об стену.

– Николай, далекий промах, – сказали рядом с ясной нотой нетерпения, с укоризной, – я неоднократно объяснял вам. Вы снова ловите десятку.

– Я знаю, – процедил Колька, стараясь сдержаться. Воспитанный человек не будет стрелять в собственного учителя.

Преподаватель физической культуры, он же – ведущий секции стрельбы, Герман Иосифович взял его за руку и принялся снова показывать, «как надо».

– Основная ваша ошибка, Николай, есть угловое отклонение. Причина: малый опыт стрельбы. Однажды приобретенный навык не останется с вами на всю жизнь, нужны постоянные тренировки, – давал он пояснения, мягко, но настойчиво преодолевая сопротивление. – Сейчас необходимо контролировать положение мушки. Мушки, понимаете?

– Да понимаю я!

– И снова отклоняетесь, – учитель деликатно, но жестко вернул корпус и руки Кольки в надлежащее положение. – Ровная мушка в прорези. Повторите.

– Мушка ровная в прорези, – процедил он.

– Не десятка на мишени вам нужна, а именно мушка. Так. Контролируйте дыхание. Начали.

Второй выстрел.

– Николай, а ведь вы опять зажмурились, – вежливо, но не без раздражения констатировал учитель. – Оба глаза закрыли. Не отчаивайтесь, результат гораздо лучше. Уже «молоко». Продолжайте, пожалуйста, – а сам отправился к Оле.

Пацан проводил его взглядом, полным лютой ненависти. Сейчас этот гад будет хватать Олю за руки, а то и за щиколотки, изменять положение корпуса, контролировать отклонение... если бы это был кто-то другой, не взрослый, преподаватель, фронтовик, – честное слово, история города пополнилась бы смертоубийством на почве ревности.

С тех пор, как Герман Иосифович появился в городе, Колька лишился покоя. Его разрывали самые противоречивые чувства. С одной стороны, он, как сын человека, которого не шельмовал только ленивый, понимал, как важно не судить о людях по своему собственному отношению к ним. Глупо и нечестно себя так вести. Если бы к нему, обвиняемому, а затем и подсудимому Пожарскому, нарсудья или, скажем, тот же Акимов отнеслись подобным образом, не гулять бы Кольке на условном.

С другой стороны, этот человек действовал на нервы, мозолил глаза, и вроде не было ни малейших оснований видеть в нем врага, и все-таки...

«И все-таки должна быть бдительность», — оправдывал себя Николай.

Направление его мыслей совпадало с общим настроем. Бдительность и снова бдительность. Война еще не закончилась, то и дело возникали слухи о диверсиях, а то и взрывах, всем было понятно, что в городе скрыться проще, и потому чужак, появившийся в районе, никогда не оставался незамеченным.

Вот и Германа Иосифовича засекли с тех самых пор, когда он сошел на станции с маленьким, старушечьим, самодельным чемоданчиком. К тому же желтым.

Смугловатый, росту среднего, даже ниже, темные кудрявые волосы, нос короткий, скулы широкие, глаза светлые, крупные, глубоко посаженные. Смотрит прямо, взгляд не прячет. Одет опрятно, в форму без погон, и сама форма — не дорогая и не дешевая — хотя и поношена изрядно, но неизменно чистая и отглаженная. Подворотничок и сапоги сияют так, что глазам больно.

В заводском общежитии, куда его расквартировали для начала, тут же быстро допросили с пристрастием: откуда взялся, друг ситный? С чем пожаловал? Почему обе ноги (руки) на месте? И что не сидится на месте, не восстанавливается родное село или хутор? Все к нам лезут, как будто город резиновый.

— Капитан, — докладывал Ленька, сын комендантши, — демобилизованный по ранению. Контузия. Одна тысяча де-

вятьсот двадцать третьего года рождения.

– С документами что? – немедленно спросил Коля.

– Все чисто, – понизив голос, поведал Ленька, – красноармейская книжка с записью о ранении, справка из госпиталя, проездные. Мамка все вносила, так я скрепки-то проверил...

– Ну и?

– Ржавые. Я как-то в его комнату заскочил, как будто дверью ошибся. Он распаковывался как раз. И-и-и-и, сколько ж у него наград, иконостас!

Чуть позже из разговоров, обрывков, упоминаний выяснилось столько всего, что впору было смутиться и просить прощения у подозреваемого. Надо уметь признавать ошибки. А тут такой послужной список: командир разведроты, за линию фронта ходил сорок пять раз, четыре ранения, из них три тяжелых.

Что до наград, то было их на самом деле с избытком, и не только советские ордена и медали, но и польский Серебряный крест пятой степени и еще какой-то несоветский: на перекрещенных мечах – восьмиконечная звезда с цветком и лавровыми листьями.

«Вражина, а то и белополяк», – думал Колька с неприязнью, запрещая себе и вспоминать о том, что последнего зверя такого рода доби́ли за два года до рождения подозреваемого, в двадцать первом году – по крайней мере, так утверждала историчка.

Возможно, дело было в непривычном говоре – вроде бы

правильном, внятном, акающем, в котором, однако, чуткое ухо различало мягкое «г». И, чтобы совсем запутать дело, он иной раз заикался.

– Вакарчук его фамилия, – сообщил Ленька.

– Бандеровец, – уверенно заявил Колька.

– Герман Иосифович, – чуть извиняющимся тоном закончил осведомитель. – Место рождения – Львов, Западная Украина.

Да. Тут уже даже Колька был вынужден признать, что для такого происхождения каша во рту вполне извинительна.

* * *

Отметившись везде, где положено, Вакарчук побродил по району, а потом отправился напрямик в школу. И так отрекомендовался, что его немедленно проводили к Петру Николаевичу, в директорскую, о чем-то они там очень быстро договорились – и на завтра выяснилось, что у ребят появился учитель физической культуры.

Многие – и не только Колька – презрительно хмыкали: этот дрищ? Глиста в гимнастерке? (По ходу выяснилось, что тетка-комендантша есть кремень, не склонный болтать, и о послужном списке вновь прибывшего широкому кругу не известно.)

Вскоре пришлось признать, что нет, не глиста, – это после того, как он сначала подтянулся двадцать раз «до яиц»,

а затем продемонстрировал безукоризненный подъем переверотом – и тоже два десятка раз сряду. Без пота и напряжения. Более того, он умудрялся и других этому научить. Так что даже отъявленные слабаки, которые до того беспомощно висели на турнике, начали исполнять этот элемент – по разу, два, три, а кое-кто уже и по десятку накручивал.

Худощавый, жилистый, мускулистый физрук с легкостью справлялся с тем, чтобы посадить, поднять, как-то иначе подтянуть до своего уровня подопечных, среди которых, несмотря на общую голодуху, встречались весьма увесистые экземпляры. И ни шуточки, ни тени насмешки не позволял.

Чуть позже показал и диковинные приемчики. Вызвав здоровяка Захарова – которого в последнее время обходили стороной самые отчаянные бузотеры, до такой степени он закабанел и раздался, – он вежливо попросил себя свалить.

Смерив физрука взглядом сверху вниз, Илья хмыкнул, протянул руки – и только. Тот неуловимо подался вперед, зацепил за майку, дернул на себя, потом наподдал под коленки – и Захаров рухнул на маты.

– Давайте еще раз. Я не успел.

– Пожалуйста, – не стал противиться физрук. В этот раз Илюха был начеку и продержался с минуту, лишь потом упал, заломанный на отменную «мельницу».

– Следующего прошу. Есть желающие?

Колька вышел на мат.

– Атакуйте, Пожарский, – приказал Герман Иосифович.

– Не приучен бить первым, – с подколкой ответил парень.

– Хорошая привычка, если к месту, – одобрил физрук. И молниеносно нырнул вперед, цепляя колено. Колька среагировал, заблокировал руку. Несколько секунд они боролись в стойке – Вакарчук отжимает его колено, Колька – физрукову руку.

«Заваливайся, дожимай корпусом», – мелькнуло в голове, но тело не поспело за мыслью, и его уже толчком опрокинули на спину. Впрочем, Колька успел кувырнуть противника через себя – не хватило маху, и вот уже Вакарчук, извернувшись по-кошачьи в воздухе, вошел в захват, прижав одной ногой руку, душил сгибом бедра, усиливая давление.

Хватая воздух в железном хвате «глисты», Коля услышал тихую подсказку:

– Для сдачи достаточно постучать по мату.

«Выкуси!» – хотел он ответить, но ни голоса, ни силы не хватало, и уже темнело в глазах, в ушах завывало, – ну и, конечно, отпустил физрук, помог подняться и громко, чтобы все слышали, заявил, что у Николая отличные способности к самбо.

– Желающих милости прошу на занятия, – пригласил он.

Он вообще оказался редкий активист, ничего не привык делать для галочки, а все с перевыполнением.

Вскоре отправился в директорскую и поинтересовался, не требуется ли школе библиотекарь. Сказали, что требуется и очень даже. С квартир эвакуированных, которые так и не

вернулись, понавывозили множество книг, книжонок и книжищ, и все они были свалены во флигеле-пристройке. В результате и флигель, и книжная неразбериха перешли в полное распоряжение Вакарчука, и вскоре он окончательно туда съехал.

Работы было много. В так называемую библиотеку попадали книги самые разнообразные, в том числе и дореволюционные, и иностранные, и наверняка с неприемлемым элементом. Все надо было систематизировать, выявить и организовать, чем капитан-разведчик с удовольствием и занялся, проявляя исключительное рвение и бабскую скрупулезность.

По его чертежам на уроках Петра Николаевича мастерили какие-то невероятные стеллажи, которые теперь в четком порядке были расставлены, как на параде, по ранжиру. Библиотека занимала весь флигель, сам Герман обосновался в слепом, без окон, закутке, собственноручно огороженном досками, и с дверью-временкой. Постоянную сколотить все руки не доходили, ибо были все время заняты. Под скромные размеры помещения пришлось соорудать топчанчик и тумбочку, более ничего в «квартире» не было.

Зато библиотека вскоре стала образцовой. Вакарчук самодично вырезал из старого каблука экслибрис: «Библиотека школы № 273» и пропечатал каждый экземпляр. Единственное, на что обратил внимание Петр Николаевич, «принимая» работу: книги на иностранных языках надо отдельно

организовать.

– Детки наши не полиглоты, – улыбнулся директор.

– Так ведь и Мировая только вторая, – отозвался физрук, но нерусские книги на отдельный стеллаж все же переставил.

Не особо он стремился к общению, но как-то получилось, что стал повсюду своим. Как если бы в районе родился, вырос и, помимо фронта, никогда отсюда не отлучался. Медальями не бряцал, ранами не хвалился, если и выпивал, то только чтобы не обидеть, без выпендрежа объясняя, что после контузии предписали не увлекаться, да и голова болит очень.

Курил тоже мало и лишь махорку, которую сначала приобретал у местного умельца. Потом, заручившись позволением директора, в палисаднике у флигеля начал выращивать свой табак, которым щедро и бесплатно снабжал желающих – кому для курева, кому против жука.

Раскопал еще грядок, откуда-то раздобыл семена и теперь выращивал всего понемногу: лук, свеклу, морковь, репу, картошку, а самые солнечные места отвел под цветник. Этого сначала никто не понимал – охота землю занимать под несъедобное, – но вскоре палисадник у флигеля стал местной достопримечательностью: вот вроде бы не было на нем каких-то особенных роз-тубероз-левкоев, а он цвел и зеленел, переливался различными цветами, и так почти до самых заморозков.

«Гиммлер хренов», – думал Колька, с раздражением вы-

слушивая умиленные бабьи разговоры: «Золотые руки, золотые! У такого и палка зацветет».

Возвращаясь с футбольных баталий, Колька не раз замечал, как бывший фронтовик, командир разведроты, сконфуженно, как кот, готовый к шкоте, выбирается из флигеля и самозабвенно копошится в земле. Пацан, не выдержав, как-то подкрался к палисаднику, неожиданно выдал громкий, уверенно-обличающий «добрый вечер» и со злорадством заметил, как Вакарчук смутился и даже принялся оправдываться:

– Я, Пожарский, знаете ли, так. Смерти много повидал, много знакомых в землю ушло, вот теперь хочется, знаете ли, как-то...

Коля продолжал сверлить его насмешливым взглядом, но уже не так уверенно. Даже стало несколько стыдно.

Агентура в лице Саньки докладывала, что физрук в мае ходил с удочкой на речку, но лишь для виду, а на самом деле слушал соловьев. Ну а что бродячие собаки и помойные коты, почуяв приближение живодерного ящика, эвакуировались на физруков двор и вообще испытывали к нему необыкновенную любовь – это нельзя было скрыть. Равно как и то, что он их подкармливал (хотя это было большим секретом).

Бабье и девчонки разделялись во мнениях. Одни возмущались, что он «обчество объедает, в столовке только четверть потребляет, а остальное котам и псам скармливает, нет чтоб детям отдать, раз сам не жрешь». Другие утирали слезы

умиления: «Вот ведь какой человек – сам недоедает, а тварюшек бессловесных обихаживает». Оля ничего не говорила, но по ее глазам читалось, что она относится ко второй группе.

Справедливость требовала отметить, что Вакарчук – особенно когда его огород начал приносить плоды – подкармливал не только собак-кошек, но и всех, кто обращался или просто клянчил. Та же Светка Филипповны, те же Мишанька и Пашка постоянно что-то жевали, возвращаясь от него. С мелкотней он ладил просто превосходно, охотно сидел, если просили, возился, книжки читал, пускал в лужах кораблики.

Что по женской части, то и тут он был чист как первый снег. В других школах физруки пользовались самой дурной славой, не гнушались устраивать гаремы. Ясное дело, появление молодого, холостого, о двух ногах и руках не могло пройти незамеченным у женского пола. Множество глаз пристально наблюдало за Вакарчуком, и все-таки даже самые бдительные с богатой фантазией не могли сказать о нем ничего плохого.

Вообще он был на виду, как на ладони, разве что изредка, по свободным дням, наведывался на станцию со своим желтым чемоданчиком, но к вечеру неизменно возвращался.

Вот если бы Коле прямо задали вопрос: «Что конкретно ты имеешь против этого поганого гражданина?», он бы вряд ли сразу нашелся, что ответить.

Ну, первоначально он здоровался с незнакомыми и даже

улыбался. От излишней приветливости излечили довольно быстро – сначала подвыпивший сосед, вопросивший, что это он лыбится и «что ли, мы знакомы?», а потом и разбитная соседка под градусом и в поисках счастья. Вакарчук усвоил принятые нормы и старательно отводил глаза при случайной встрече с незнакомцем и тем более с незнакомкой.

Но вот улыбался он по-прежнему в ответ на практически любые вопросы – от «Герман Иосифович, ведь не было же заступа?» до «Керосин завезли?», в процессе почти любого занятия (суровая завуч, которая в целом ему покровительствовала, часто призывала к порядку: «Работай, улыбаться потом будешь»), будь то прополка клумб, демонстрация передней подсечки или подъема переворотом.

«Лыбится, как дефективный», – думал с неприязнью Колька.

Даже когда мама – все-таки по итогам работы в больнице научилась она разбираться в различных хворях – высказала мнение, что это, как и заикание, просто последствия контузии и скоро пройдет, Коля полагал, что Вакарчук просто недоумок.

Возможно, по причине скудоумия он не переносил пота. Наверное, потел, как все, но что-то такое с собой делал, что после самых тяжелых нагрузок, по окончании субботников, кроссов от него пахло не как положено нормальному работяге, а или почти ничем, или одеколоном.

Стоило прийти к мысли о том, что типчик просто ненор-

мальный, что в целом примирило Колю с субъектом, как произошло то, что выжгло и вытравило любую терпимость. И возненавидел он Вакарчука до полной непримиримости.

* * *

Как и повсюду в стране, после войны популярность тиров выросла просто невероятно: кто-то жаждал научиться стрелять, кто-то – похвастаться своим мастерством, а заодно и подзаработать копейку-другую, кто-то просто глазел, потому что «кина» в «Родину» не завезли.

Устроители тиров моментально сообразили, на что ловить любителей военных развлечений, и за меткие попадания выдавали разной ценности призы. Один павильон в сквере работал и летом, и зимой, а для тепла устанавливали тент-палатку. Дети и неповзрослевшие взрослые прямо-таки роились вокруг. Призы имелись самые разнообразные, в основном съестные, потребляемые – сахар, меланж, консервы, махорка, или полезные, например мыло на настоящих (не собачьих) жирах. А в некоторые дни, когда на него находил стих, завтира выставлял и ценные вещи – то немецкий аккордеон, то часы «Зенит», целенькие, не битые, невесть откуда взявшиеся настоящие бритвы «Золинген» и прочее добро.

Но призы – это не для всех, иное дело – тотализаторы. Они процветали. Азартные товарищи, которые сами страдали косоглазием и дрожанием рук, тем не менее прекрасно

разбирались в талантах других стрелков и с удовольствием ставили грошик-другой на того или иного меткого снайпера. Причем нередко обогащались.

Это было известно абсолютно всем, но, во-первых, руки у власти до всего не доходили, а во-вторых, и незачем. Куда удобнее, когда весь потенциально опасный элемент сконцентрирован в одном месте, как тараканы у воды.

В этот злополучный день у Кольки с Олей вышел не то что скандал, но некоторое разногласие. Всему виной оказался Колин галстук-селедка. Красивый, в удивительную полоску, с которым он старательно сражался, добиваясь нужного, чуть косого узла. И вот когда Колька и галстук явились перед Олей, эффект оказался совершенно не таким, как замышлялось. Оля сначала подняла брови, потом фыркнула, потом пожала плечами – и вроде бы смирилась. Только к парку шли они какими-то партизанскими тропами, избегая большого скопления народа. На прямой вопрос Оля ответила, что если он, Пожарский, с самого начала собирался нацепить на шею дохлого попугая, то предупреждать надо было.

– Да понимала бы чего! – возмутился Колька. – Красивый галстук! Что, постоянно в серо-буром ходить, как попы да монахи?

– Тоже мне, щеголь! Такие штуки на шею только деревенские дурачки вешают типа Витюши, – заявила Оля и высокомерно замолчала.

Так звали местную достопримечательность – Витю-юро-

дивого или Витю-Пестренького, единственного сына подсобной рабочей в продуктовом магазине, инвалида недоразвитого, который страсть как любил навешивать на себя все, что находил. Разукрашенный, как новогодняя елка, бродил Витя по району, и чего только на нем не было – от рекламы «Внесите вклады в сберкассы!» до мышеловки.

В общем, вечер начинался не так приятно, как мечталось. А тут еще вышли к тиру, а там провокатор заведующий выставил на кон удивительную вещь: трофейное зеркало в оловянной оправе, с подставками под свечи. Настольное, загадочно сияющее, да еще и в футляре, обитом алым бархатом, с серебристыми замочками, оно было прекрасно до такой степени, что даже мужикам не приходило в голову задаться мыслью, зачем оно им нужно. Зеркало просто притягивало и манило.

В итоге, бормоча: «Буду сам смотреться аль на картоху сменяю», пыталели счастья просаживали практически всю получку. Хитрый завтира задал непростую задачку.

– Смотри сюда, – объяснял он, – вот тебе два монтекристо, заряжаю зараз оба. Первым выстрелом надо поразить вот ту мишень, с зайцем. Шлепнул зайца – от тебя начинает улепetyвать вон тот волк. И если со второго ружья его снимаешь, то забирай приз.

Многие пробовали, спуская жирнее зарплаты – шутка ли! Заяц, зараза, немедленно заваливался, и, пока игрок хватал второй ствол, вскидывал и целился, – волка уже и след про-

стыл.

– Какая красота, правда, Коля?

Колька с изумлением посмотрел на Олю: полуоткрыв рот, прижав к заалевшей щеке сплетенные пальцы, она огромными восхищенными глазами прямо-таки пожирала эту ничемную мещанскую глупую вещь!

– А ты знаешь, что в такие тарелки только вертихвостки смотрятся? – не выдержал он. – При свечах.

Оля вспыхнула еще жарче и высокомерно заявила:

– Ты глуп. Ты потому так говоришь, что никогда в жизни тебе не попасть!

– Больно надо время тратить на всякую лабуду. Галстуки только Витюши носят, – передразнил он, – а сама-то спит и видит, как бы перед зеркальцем хвостом покрутить. Свет мой, зеркальце, скажи!

– Простите, Николай, но вы заблуждаетесь, – попенял невесть откуда взявшийся Вакарчук, сияя белоснежным кашне, в пальто, мастерски перешитом из шинели, элегантный до невозможности. – Внимание к собственному внешнему виду – не только обязанность любого советского человека, но и проявление уважения к окружающим.

В этот момент один из посетителей, уже не смущаясь, послал завтира вслед убегающему волку, и кто-то замазал на то, что все это жульничество и все равно не попасть, только дерет, дармоед, с трудящихся втридорога. Дурацкий Герман с легкой укоризной сказал:

– Зачем же так грубо? – и подошел к столу с ружьями. – Не надо грубить, не следует нервничать. Ни одно дело не следует начинать со зла. Достаточно просто успокоиться, прицелиться и выстрелить. И приз будет, непременно.

Кто-то сгоряча пообещал ему с полным спокойствием отвесить по полной, но завтира прекратил бесплодную дискуссию:

– А ты бы, мил человек, проповеди оставил на улице, а сам бы выступил, как полагается.

– Ну а почему бы и нет? – вежливо отозвался Вакарчук. – Сколько с меня следует?

Завтира запросил, не стесняясь. Герман не просто без возражений выложил больше официальной таксы, но и смиренно дожидался, пока барыга зарядит оба ружья. Не придирался, не делал попыток осмотреть инвентарь, спросить, что за кривые костыли ему тут подсовывают, покритиковать пули. Просто стоял и ждал, неторопливо сдергивая по одному пальцу перчатки.

Однако, как только пошел заяц и вокруг притихли, лишь кто-то деловито мазал десятки «за» и «против», физрук, молниеносно вскинув монтекристо, как бы и не целясь, выбил одну мишень, четко и легко, и, снова как бы неприцельно, завалил из второго ружья и волка.

Повисла гробовая тишина, потом заорали все – и кто проиграл, и кто выиграл, – вопили одинаково восторженно.

Заведующий тиром не просто с уважением, но даже с

неким благоговением снял приз с подставки, сдул тонкий слой пыли и преподнес Герману. Вакарчук попытался отказаться:

– Что вы. Ни к чему мне. Я просто так, чтобы показать, что для народа-победителя нет ничего невозможного. Вы согласны?

– А то как же, – немедленно отозвался завтира, с восторгом прикидывая, сколько народу еще пополнят ему кассу, пытаясь повторить подобный номер.

Однако один из завсегдатаев-энтузиастов, плотный мужик с увесистыми кулаками, решительно заявил:

– Э-э-э, нет, милый. Гражданин вот выиграл – значит, шабаш. Отдавай, раз обещал.

Самолично отобрав у завтира футляр, он впихнул его в руки Вакарчуку:

– Неча баловать. Вы учитель, должны понимать.

– Тоже верно, – согласился тот, – непедагогично. Вы правы.

Повернувшись, он вложил футляр в Олины руки и был таков.

Она, открыв рот, потеряв дар речи, ошеломленно переводила глаза с удивительной вещи на дверь, за которой скрылся физрук. И было у нее во взгляде нечто такое, от чего Колька процедил, сжимая кулаки:

– Верни немедленно.

– Нет, – тотчас ответила Оля, – нет. Мое. Не отдам.

И совершенно по-детски прижала футляр к груди, глядя испуганно, но твердо. Пацан скрипнул зубами. Как будто со стороны увидел он себя – красного, взъерошенного, в дурацком галстуке, на которого (как он думал) все смотрят с насмешкой, – и совершенно по-взрослому рассудил: нельзя ни скандалить, ни кричать. Не надо унижаться.

– Как дите малое, – с натянутой улыбкой произнес он. – Девчонка есть девчонка. Ладно, пошли отсюда.

* * *

Дня не прошло после этого, как школу посетил представитель ДОСАРМа, о чем-то они говорили в кабинете Петра Николаевича – сперва тет-а-тет, потом откопали из книжных завалов Вакарчука, потом долго шептались с завхозом.

Итогом данных совещаний-заседаний стало единогласное решение об учреждении при школе секции юных стрелков, да не просто, а чтобы с настоящим тиром в подвале, на месте бомбоубежища.

– Обустроим по полной программе, – говорил досармовец, для убедительности рубя ладонью воздух. – Оружие, расходные, инвентарь – все в лучшем виде. Вы фронтовик, офицер, товарищ Вакарчук, понимаете, как важно не ронять уровень всеобуча. Сплошь психологии и логики, а военруков нет. А случись что – чем воевать будем, болтологией? Так что придется вам.

– Честное слово, мне бы не хотелось...

Товарищ из ДОСАРМа поднял палец, призывая к тишине:

– Настрелялись, понимаю. Сам с сорок первого на передке. И все-таки придется. Надо.

Нельзя сказать, что Герман не сопротивлялся – пытался, но ровно до тех пор, пока досармовец не потерял терпение и не намекнул максимально прозрачно: пацифизм – это чуждое настроение и в настоящее время на повестке дня не стоит, по крайней мере до тех пор, пока не будет выкован ядерный щит страны.

Правда, с ружьями пока что-то не заладилось. И хлыщ Герман учил ребят прицеливанию – изготовке – хватке – дыханию – спуску курка на выхолощенных пистолетах. Было их всего три штуки, зато какие! Наган, парабеллум и крошечный, совсем детский браунинг.

Как поведал всезнающий Альберт, все эти богатства – личное боевое оружие, фронтовые сувениры, сданные на выходе в отставку полковниками и генералами.

– Я б ни за что не сдал бы, – заметил Колька, – ни в жисть.

Альберт прищурился, шикарно выпустил из носа две толстые струи дыма:

– Куда б ты делся. Светила бы статья за хранение оружия без разрешения – рванул бы сдавать, впереди собственного визга.

– Прямо щас.

– До пяти лет, – со значением добавил ученый друг, – и

не условно.

Колька промолчал.

Как он ни старался, со стрельбой у него не ладилось.

Зато у Оли – очень даже. В ее ясных глазах – таких больших, доверчивых, в густых пушистых ресницах, – таилась исключительная прицельная панорама, тонкие, полупрозрачные руки демонстрировали невероятную координацию движений и твердость, отсутствующие мышцы – редкую память... так, скорее всего, нашептывал ей на ухо подонок Герман Иосифович.

– Стрельба – это монотонное занятие, – вещал он своим тихим, тараканьим голосом. – Это не беготня скопом за мячом, не размахивание кулаками. И даже не самбо. Стрелок ведет самый трудный бой: с самим собой. Хладнокровие, выдержка, глазомер – это всего лишь полдела. Главное – владеть собой и своими эмоциями... А вас, Пожарский, пока побеждает Коля – маленький мальчик, не способный справиться с собственным глупым и смешным раздражением.

Зато Оля... ох уж эта Оля. Стоило ей взять в руки пистолет – особенно жаловала она этот крошечный, курносый браунинг, обмылок настоящего оружия! – как она преобразалась. Весь мир прекращал свое существование. Ходи ты вокруг нее колесом, играй свадьбу, распевай матерные частушки, – она ничего не слышала, не видела ничего, кроме мушки и прицела. Пожалуй, что и не думала.

Мягкое, уверенное движение тоненького прозрачного

пальчика, выстрел, и – десятка.

– Десятка, – подтвердил Вакарчук. – Гладкова, вы редкостная умница. Я думаю, вам стоит подумать о чем-то более серьезном, нежели школьный тир. Помнится, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе...

И он гнал какую-то чушь про заморские страны, а Оля внимала ему с горящими глазами, и длилось это долго, тошнотворно долго, а закончилось обещанием:

– Если вы сможете посещать тир по вечерам, я с удовольствием научу вас интуитивной стрельбе.

«Если она еще и по вечерам будет «посещать», поубиваю обоих», – в бессильной злобе подумал Колька.

* * *

У дома встретился Санька Приходько, с хрустом жуя, предложил:

– Хочешь кальмотик? – и отсыпал из кулька сушеной свеклы.

Поблагодарив, Колька переложил ее в карман и тотчас кусочек вкуснятины запихнул в рот:

– Что, тетка Анька расщедрилась?

Санька ухмыльнулся:

– Дождешься от нее. Светке Герман подкинул на зуб.

Колька чуть не поперхнулся. Хотелось выплюнуть содержимое, но ненависть ненавистью, а свекла свеклой.

– Ну всех прикормил, садовод... – и добавил непечатное.

Санька от удивления приостановил жевание, подвигал прозрачными ушами, складывая два и два, и наконец понимающе кивнул:

– Ну да. Понимаю. Только все-таки зря, мужик-то он нормальный.

– Нормальный мужик цветочки разводить не станет, – упрямылся Николай.

– Ну а эти там, как его, беса... Тимирязев.

– Это другое, – заявил Колька уверенно.

– Но все-таки не жадничает, – увещевал Санька, – луку приволок. Вон тетке герань в горшке подарил. Теперь как хорошо, моли нет.

– Она у вас с голодухи вся перемерла.

– Не. Герман преподнес, мошь разбежалась, тетка и раскисла. Сидит, слезки в чашку роняет, а он ей еще и втолковывает, мол, от цветка еще и нервы успокоятся.

– Он что, тут? – насторожился Колька.

– Да вон со станции зашел, с теткой Анькой кипяток гоняет. Да и Олька заскочила. Сперва до тебя подалась, не застала, теперь у нас, Светке помогает с арифметикой...

Уже не слушая приятеля, Колька вбежал на этаж и по-хозяйски отворил хронически не закрывающуюся дверь.

Картина, представшая перед его покрасневшими глазами, была ужасна. Вокруг стола хлопотала тетка Анька Филипповна, красиво причесанная, вся какая-то отглаженная-на-

крахмаленная, даже помолодевшая и похорошевшая. Оля с огромными глазами, забыв о том, что перу не место во рту, и мелкая Светка, которая успевала жевать, хрустя за ушами, и восхищенно таращиться, и ненавистный Вакарчук со своим желтым чемоданом.

Орудую хваталками, дурацкий Герман ловко управлялся с тетрадным листочком, складывая самые разнообразные бумбезделки. Как по волшебству, превращались листки то во «всамделишную» – прыгающую! – лягушку, то в истребитель, то в двухтрубный пароход...

– Теперь розочку, – распорядилась Светка.

– Ну это же совсем просто, – с неизменной улыбкой заметил физрук, но противиться не стал, сложил листок в длинную полосу и быстрыми, точными движениями, почти не останавливаясь, как-то скрутил, расправил, подтянул, – и вот в его поганных руках расцвела розочка – пусть в линейку, но почти как живая.

Светка аж лапками всплеснула, тетка Анька уже всхлипывала от восторга, а этот гад со своей малахольной улыбкой протянул цветок Оле.

Плотно прикрывая за собой дверь, никем не замеченный Николай успел услышать, как Вакарчук пообещал:

– Вот подождите, когда зацветут настоящие...

– Жди-дожидайся, – проскрежетал Колька.

Дальше он действовал как в тумане, даже не задумываясь ни о самом поступке, ни о последствиях. Ближайшая те-

лефонная будка с новехоньким аппаратом находилась в пяти минутах ходьбы быстрым шагом. Совершив звонок по «ноль-два» и произнеся несколько слов нарочито измененным голосом, Колька отправился бродить куда глаза глядят. Видеть никого не хотелось, и идти домой было нельзя – вскоре в округе будетлюдно. Исключительнолюдно.

...Бригада прибыла – пятнадцать минут не прошло, и вот уже битый час старательно, по миллиметру разоряла поочередно огород, цветник, самый двор. Далее перешли в помещение, повскрывали окна и полы, отодрали пороги, перерыли-перетрясли книги и потом, видимо с досады, якобы случайно наподдали по стеллажам так, что они попадали доминошками, один за другим. Все пришло в состояние первобытного хаоса.

Несмотря на позднее время, скопилось немало наблюдателей: кто-то негодовал, кто-то охал, в основном же молчали и смотрели, готовые к любому развитию событий, от самосуда до бунта – в зависимости от ситуации. Однако за оцепление никто не рвался, туда допустили только представителя администрации и лицо, занимающее помещение.

Старший группы, сапер лет двадцати, не более, злой, как горчица, и сильно загорелый, объяснялся с Петром Николаевичем:

– Вызов поступил, что схрон у вас – гранаты, боезапас, мины, нас к вам и бросили. И, главное дело, собаку не дали – занята, мол, сами вынюхивайте. А мы только-только с

Алушты, задолбанные до последнего предела. Эксель-моксель. Полгода впахивали – вся набережная, пляж, парк, мосты, плантации эти розовые, виноградники. Ходишь работаешь, а местные орут, за руки хватают, мол, не тронь, только-только развели. А там-то, под розочками, и шпринги, и наши, в деревянном корпусе – что ты!

– Немецкие, наверное? В деревянном-то корпусе.

– Ага, – зло сплюнул тот, – наши. Противопехотные фугаски по двести граммов тола: задел – и шабаш, руки-ноги собирай по винограднику.

– Книги-то зачем? – неуверенно спросил директор.

– Книги... я вам, товарищ директор, расскажу зачем. Наткнулись вот в Крыму на блиндаж, а на столе – карта, и вся в значках, готовый орден на столе то есть. Ну, Валька-москвич и хватанул – весь блиндаж на воздух взлетел. Только один везунчик остался в живых, случайно, контузило только. Он и рассказал, как дело было... Слушай, земляк, ты уж не серчай, – это уже Вакарчуку, – просто знаешь, как: дом старый, а вот порожек новый, да и палисадник видно что недавно обиходили.

Физрук, который все это время стоял, засунув руки под мышки, зажав чемодан меж колен, глядя на уничтожение и разгром, вдруг дернулся, схватился за висок, достал пузырек и, откупорив, потянул носом. В воздухе разлился резкий, противный запах, от которого, однако, Вакарчук явно пришел в себя. Правда, ничего не ответил.

– Новенькое, оно подозрительно, – чуть ли не извиняясь, пояснял старший группы. – Я сколько раз видел: вход в схрон как раз под порогом меж комнатами. А раз подкрашенный – так к гадалке не ходи, там и схрон.

Герман Иосифович, после понюшки посвежевший и оживший, хотя и по-прежнему белый как лист, выдавил, разлепив бескровные губы:

– Где это?

– Хде-хде, – передразнил сапер, – а то сам не знаешь. Западная Украина.

Тот кивнул.

Ничего не обнаружив, извинились и уехали. Наблюдатели тоже стали расходиться. Вакарчук отказался поочередно от предложения Петра Николаевича, и от Филипповны, и еще от пары мадамочек переночевать у них на хлебах – и отправился в разоренный флигель.

Оля, которая, так и не дождавшись Николая, отправилась домой одна, видела, как сгорбленный Вакарчук один за другим устанавливает стеллажи, поднимает, бережно обдувая, книги. И явно у него болела голова, потому что он то и дело останавливался, тер висок, морщился. Оле ужасно хотелось вмешаться в происходящее. Постучаться, войти, извиниться, предложить чем-то помочь. Хотя бы утешить, сказать что-нибудь, пусть глупое, но теплое, доброе... Однако, будучи умницей, она прекрасно понимала, что бывают ситуации, когда просто надо человека оставить в покое, одного.

Да и люди, какими бы хорошими они ни были, все склонны перевернуть на свой лад, предполагать самое мерзкое и грязное. И ей, даже ни в чем не виноватой, совершенно не улыбалось оправдываться, прежде всего перед Николаем.

В общем, добрейшая Оля Гладкова, отзывчивая душа, взяв себя в руки, заставила себя пройти мимо чужой беды и одиночества и сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Лишь дойдя до дома, она хватилась бу-
мажной розы – но ее нигде не было. Она валялась, наверное, где-то. Никому не нужный, втоптаный в грязь осколок мечты о цветущем рае. И не зацветет более ни она, ни те самые настоящие розы, о которых с такой нежностью, такой любовью говорил этот покалеченный, странный человек, сплошная открытая рана.

...Колька, убедившись, что все стихло, вернулся домой за полночь, высыпал перед матерью пригоршню свеклы.

– Ой, надо же, – обрадовалась она, с наслаждением при-
нюхиваясь, – прямо как чистый чернослив. Умеет. То-то На-
ташка порадует.

– Сама бы съела, – заметил он грубовато, но мать давно уже не обращала внимания на его колючки.

– Пусть, пусть ребенок полакомится, теперь не скоро све-
колки-то такой увидим. Разве что осталось у него, бедного.
Герка-то как-то по-особенному ее сушил.

– М-мать, – процедил Николай, но вовремя прикусил язык.

– Что, сынок? – немедленно спросила она.

– Это я так. Спокойной ночи.

«Спокойной» не получилось, он проворочался, кусая подушку, до утра.

Уж сколько воды утекло со времени его исторического звонка на «ноль-два», и до сих пор при воспоминании об этом от стыда по-прежнему пальцы в ботинках поджимаются.

* * *

– Итак, что у тебя по дачам? – осведомился Сорокин.

Акимов подавил вздох. По дачам все было настолько кисло, что перспектива спуска на землю уже не пугала, а скорее, напротив. Устал Сергей разочаровываться в своих силах.

Начиналось все мирно, даже юмористически. Прибежала растрепанная почтальонша Ткач, разносившая корреспонденцию зимующим на Летной и Пилотной, что в поселке Летчик-Испытатель, и сообщила, что на Гастелловской «что-то не то».

«Чем-то не тем» оказалась вскрытая генеральская дача, заколоченная досками на зиму. Сколько ни осматривал Сергей участок, скрупулезно, по часовой, с привязкой по ориентирам, никакого особо жуткого криминала на генеральском участке не обнаружил. Дверь, впрочем, вскрыта вроде бы стамеской. Ну и, знамо дело, в доме полный бардак: в воз-

духе белым-бело от пуха и пера, как в курятнике во время переполоха. Каждая подушка, вплоть до невинных думок, была вспорота, причем на панцирной кровати выпотрошенные подушки зачем-то сложили стопкой и прикрыли обратно салфеткой с кружавчиками. Шкафы, шифоньеры, тумбочки – все вывернуто, какие-то сундуки и саквояжи тоже опустошены, все содержимое валялось на полу. Абажур, заботливо укутанный на зиму кисейкой, сорван и отброшен в угол. На кухне – разоренный буфет, груды битых тарелок, вскрытые банки. За оградой, в кустах нашелся ватный матрас, безжалостно выволоченный из родных стен и выпотрошенный до последнего клочка.

При таком разгроме как-то напрашивались пропавшие ценности и кровавые лужи, но их не было. Более того, сколько ни пытался уразуметь Акимов, не было ни логики, ни смысла в этом бардаке. Беспорядок – не улика, мало ли ключи от городской квартиры искали в спешке. А иных необычных вещей на месте происшествия не имелось.

Хотя... в версию о хаотичных поисках ключей не вписывалось то, что было очевидно: безобразничали старательно и методично, не оставив без внимания ни сантиметра помещения. На фоне всего этого было глупо спрашивать, не видит ли что-либо необычное товарищ Ткач, по долгу службы в доме неоднократно бывавшая. Товарищ Ткач только хлопала глазами – она же письмоносица, не пинкертон. Составив пространный и бестолковый протокол, Акимов вздохнул

и вернулся в отделение.

Хорошо, еще ядовитого Сорокина не было, отбыл на три дня по каким-то служебным надобностям. Акимов, раскинув мозгами, состряпал лишь одну версию: вандализм на фоне личной неприязни. Надо полагать, насолил кому-то герой-летчик. Самому воину морду набить, понятно, руки коротки, вот и решили хотя бы так напакостить.

Идея в целом была здравая (за неимением иных мыслей) и, главное, удобная.

Беда поджидала Акимова на следующий день в виде покойной, подтянутой пары физкультурников.

– На лыжах отправились, – пояснял мужчина, – смотрим, вроде как калитка открыта...

И снова отправился Акимов в Летчик-Испытатель, теперь уже на Чкаловскую, и снова застили глаза перья вспоротых подушек. Такая поганая штука, никак они не хотели угомониться и улечься на пол – чуть двинешься, и опять поднимается снежная метель. Снова разгром, разоренные шкафы-чемоданы, только теперь, помимо подушек-думок, пострадал еще и ни в чем не повинный матрас с огромной генеральской кровати. Тиковый, полосатый, который вытащили во двор и подвергли надругательству, выпустив кишки-пружины.

И вот вернулся Сорокин и задал вопрос со своеобразным началом: «Как у тебя с...?» И пришлось признаться, что никак, и версий, помимо стремления насолить из личной неприязни, никаких нет.

– Ах, личная неприязнь, – со значением протянул капитан. – И небось по-пьяни?

Акимов засмутился. Кивнув, начальство продолжало:

– Я тут делишки разбирал, ну, знаешь, всячки всякие ваши. Старые в том числе. И наткнулся на интересную папочку... Ты-то, конечно, понятия о ней не имел, да? Не твое дело, пусть другие разбираются, у меня своих дел по горло. А вот что мы имеем на сейчас.

Николай Николаевич извлек из сейфа новехонькую, хотя и пыльную папочку. Очевидно было, что лежит она нетронутой давно.

– Вот тут, сударь ты мой, еще два рапорта о таком вот, как ты говоришь, стремлении насолить из личной неприязни. Два!

– То есть как это? – пробормотал Сергей.

– А вот таком кверху. Два случая имели место на разных дачах в поселке Летчик-Испытатель. В сентябре – дом Сичкина Николая Ионыча, в октябре – Пьецуха Алексея Ивановича. Как прикажешь понимать? Все летчики не угодили кому-то одному?

– Ну я и говорю – хулиганит чокнутый.

– Ну да, чокнутый, – поддакнул Сорокин, – хорошо, удобно, да неувязочка. Ты небось грамотный, книжки читал. Может, что и помнишь. Особенно такое умное выражение: первый раз – случайность, второй – совпадение, третий...

– ...закономерность.

Сорокин с одобрением кивнул:

– Или враждебные действия. Если так, тогда что такое два случая из сейфа и два твоих – это уже не три, а целых четыре. Серия, так?

– Так.

– Во-о-от. И скажу тебе по большому секрету – и по соседним окраинам, по сводкам судя, еще как минимум парочка-троечка официально зарегистрированных «хулиганств», подчеркиваю – только зарегистрированных. И именно с подушками-матрасами, и именно по офицерским дачкам. Намек понял?

Акимов кивнул.

– А теперь к нашим баранам вернемся. Вопрос у меня к тебе, товарищ следователь: зачем дураку с ножом матрас на потрошение на улицу переть?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.